

мья») [1, с. 302]. Настоящее оказывается лишь фикцией, спровоцированной сознанием лирического героя, прикоснувшегося к вечности, а образ памяти, сопутствующий теме прошлого, постепенно деформируется в прапамять, эквивалентом которой в философии служит так называемая постоянная память (память подсознания), хранящая информацию о данной и предыдущей жизни: «Когда же, наконец, восставши / От сна, я снова буду я – / Простой индеец, задремавший / В священный вечер у ручья?» [1, с. 118].

Память у Гумилева не всегда выступает средством путешествия в прошлое, она может быть и приметой разрыва временной триады, заставляя человека вечно переживать экзистенциальную тоску по минувшему: «**Мне суждено одну тоску нести,** / Где дед раскладывал пасьянс / И где влюблялись тетки в юности / И танцевали контреданс» («Старина») [1, с. 155]. При этом ушедшее лишается одушевляющей его предметной составляющей. Смерть пространства находит отражение в образе «высокого чердака», на котором пылятся «как ряд скелетов, груды мебели» – знаки старины. Одиночество героя, блуждающего по лабиринтам памяти, подчеркивается осязаемым переживанием пустоты: «Вот дом старинный и некрашенный, / В нем словно плавают **туман**» [1, с. 155], где образ тумана становится эквивалентом небытия и аккумулирует в себе идею гибели. Заполненность пространства звуками: «В нем залы **гулкие** украшены / Изображением пейзаж» [1, с. 155] оказывается мнимой, «гулкость» домашнего локуса семантически синтезирует эффект пустоты, т.к. ничто в старинном доме больше не способно поглотить звук и тем самым доказать материальность своего присутствия.

Таким образом, ход времени оказывается разрушительным для реального пространства в силу своей подчиненности пустоте. Поэтому прошлое в мире Гумилева часто предстает как память об утрате, тоска, которая вторгается в настоящее. Оно может напоминать о себе во снах, но, как это часто бывает у Гумилева, оказывается отнесенным в область инопостранства и иновремени. Путешествие в этот локус сопряжено с болезнью, что дает возможность говорить об актуализации метафоры бреда: «Я, верно, **болен**: на сердце туман, / Мне скучно все, и люди, и рассказы, / Мне снятся королевские алмазы / И весь в крови широкий ятаган» («Сонет») [1, с. 210]. Заметим, что время историческое лишается у Гумилева своей одушевленности. Человек в нем предстает как чистая телесность («**Я тело** в кресло уроню, / Я свет руками заслоню...») («Ослепительное») [41, с. 216], в то время как дух его силою мечты путешествует в иновремени: «И я когда-то был твоим, / Я плыл, покорный пилигрим, / За жизнью благодной и мирной, / Чтоб повстречал меня Гуссейн / В садах, где розы и бассейн, / На берегу, за старой Смирной» [1, с. 229].

Линейное время для Гумилева – это время без перспективы, не получающее воплощения в будущем. Бесконечно однообразное настоящее замыкается в круг, из которого изымаются несвершившиеся, но желаемые события. По сути, статика настоящего разрушает миф о событийности во времени, т.к. движение как форма развития хронотопа полностью отдается творимой в мечтах реальности: «Жизнь печальна, жизнь пустынна, / И не сжалится никто; / **Те же вазочки в гостиной,** / **Те же рамки и плато**» («Старая дева») [1, с. 278].

Необратимость хода времени разрушается лишь в сознании, предполагающем одновременное существование всех форм пространства. Временной поток приобретает способность отражать все изменения, происходящие с лирическим субъектом, действуя наподобие водной глади: «А меня совсем **другой** / **Отражают зеркала,** / Я наяда под луною / В зыби водного стекла» [1, с. 278]. Мы видим, что личное время человека способно подвергаться трансформациям, а это уже начало свободы. Подобное выпадение из хронологически заданного потока сродни озарению, когда мгновенно и картинно перед глазами человека мелькают его предполагаемые жизни: «В глубине средневековья / Я принцесса, что, дрожа, / Принимает славословья / От красивого паж // Иль на празднике Версаля / В час, когда заснет земля, / Взоры юношей печала, / Я пленяю короля» [1, с. 278].

Н.Е. Таркан (г. Могилев, РБ)

ПОЭТИКА ВРЕМЕНИ В ПОЭЗИИ Н. ГУМИЛЕВА

В поэзии Н.Гумилева можно выделить определенный круг лейтмотивных тем, помогающих составить единый образ мира. Наряду с пространством гранью этой поэтической парадигмы является время. Сквозь его призму осмысливается все сущее, в том числе и человеческая жизнь.

Для Гумилева не существует единого времени: прошлое, настоящее и будущее сложно переплетаются в лабиринтах сознания лирического «я» его поэзии. И здесь отметим, что более всего Гумилева интересует ушедшее. Прошлое представляет для поэта идеальную модель, так как мыслится невозвратным и навсегда утерянным: «Вот вся жизнь! Круженье, пенье, / Моря, пустыни, города, / Мелькающее отраженье / **Потерянного навсегда**» («Прапа-

Таким образом, человек в поэтическом мире Гумилева стремится вырваться из хронологической заданности чаще всего посредством памяти-грезы, которая помогает построить собственные пространство и время. Настоящее как время текущее не представляет для Гумилева особой ценности: «Я вежлив с жизнью современной, / Но между нами есть преграда, / Все, что смещит ее, надменную, / Моя единая отрада» («Я вежлив с жизнью современной») [1, с. 482]. Минувшее, выступающее в качестве идеальной модели, осмысливается как навсегда потерянное, т.к. одушевляющее его предметное пространство подвергается разрушению, подчиняясь хроносу («Старина»). Поэтому оно вторгается в настоящее непрерывною тоской и болью, преодолеть которую возможно лишь найдя опору в мифической древности или инопространстве.

Литература:

1. Гумилев, Н. Лирика / Н. Гумилев. – М., 2005.